

### Глава III

*Дальнейшее знакомство мое с Кукольников. – Его поклонники. – Первое представление «Руки всевышнего». – Триумvirат Брюллова, Глинки и Кукольника. – Их дружба. – Чиновники особых поручений при авторитетах. – Середы Кукольника. – Булгарин. – Ужин у Кукольника. – М. И. Глинка. – Карикатурный альбом Степанова. – Продолжение моей службы. – Князь Ширинский-Шихматов. – Бал у него. – Умиравший Сваррик-Сваррацкий. – Г. Краевский в редакции «Журнала Министерства просвещения». – Мое знакомство с Краевским. – Перевод «Отелло». – Знакомство с Каратыгиным, Брянским и князем Шаховским.*

С Кукольников я не мог видаться часто. Он возил свою «Руку» из дома в дом и читал ее. Толпы новых поклонников его возрастали с каждым новым чтением и заслоняли его от прежних. Надобно сказать правду, что эти поклонники набирались всюду без разбора и, соперничая друг перед другом в энтузиазме, вообще не отличались большим развитием.

«Рука» репетировалась между тем в театре. Наконец, наступило давно желанное для энтузиастов Кукольника представление. Весь партер был набит ими. Я, разумеется, был в том же числе. В нашей преданности и энтузиазме к поэту мы не щадили ни рук, ни голоса: кричали, топали, хлопали и вызывали автора несчетное количество раз после представления. Успех был огромный. Но когда драма Кукольника появилась в печати, она встречена была, к нашему огорчению, не совсем благосклонно.

Всем известен отзыв об ней Полевого и последствие этого отзыва – «Телеграф» был запрещен. По этому поводу кто-то написал довольно остроумное четверостишие:

Рука всевышнего – три чуда совершила!  
Отечество спасла,  
Поэту ход дала  
И Полевого угодила.

Вскоре после этой чудотворной «Руки» начались чтения новых произведений: «Джулио Мости», «Джакобо Саназара», «Скопина-Шуйского», «Роксоланы» и так далее. Кукольник читал нам свои новые произведения одним из первых. Сенковский произвел его за «Торквато Тассо» в Гете.

Такое непомерное повышение показалось неловким даже некоторым из самых благоразумных его поклонников. Мой, энтузиазм к поэту, впрочем, не остывал. Каждое новое его произведение казалось мне шагом вперед. Имя Кукольника гремело в журналах и в обществе. Он становился авторитетом, близко сошелся с Брюлловым и Глинкою и уже довольно равнодушно смотрел на фалангу своих поклонников, которые делались ему бесполезными.

Каждое чтение нового произведения оканчивалось ужином и шампанским. На этих ужинах поэт делал объяснения своим произведениям, из которых мы между прочим узнали, что цаца и ляля в «Джулио Мости» – любимые слова его детства и что он решился внести их в драму как приятное для него воспоминание. Известно, что Кукольник почти всех своих героев заставлял красноречиво пророчествовать и любил сам пророчествовать о себе на дружеских сходках.

Таким образом, однажды, разговорясь о литературе и о значении Пушкина, он сказал:

– Пушкин, бесспорно, поэт с огромным талантом, гармония и звучность его стиха удивительны, но он легкомыслен и неглубок. Он не создал ничего значительного; а если мне бог продлит жизнь, то я создам что-нибудь прочное, серьезное и, может быть, дам другое направление литературе... (Передавая слышанное мною из уст поэта, я ручаюсь, конечно, только за верность мысли, а не за слова и обороты фраз.)

К сожалению, в действительной жизни пророчества не всегда сбываются так легко, как в литературных произведениях.

Сближение и короткость Кукольника с Брюлловым и Глинкою, пользовавшимся уже громкою известностью после «Жизни за царя», еще более возвысило Кукольника в глазах его многочисленных поклонников. Они мечтали видеть в этой короткости разумный союз представителей живописи, музыки и поэзии и полагали, что такой союз может иметь влияние на эстетическое развитие нашего общества. Едва ли Кукольник не поддерживал и не распространял эту мысль, о сущности, союз этот не имел и тени чего-нибудь серьезного. Представители трех искусств сходились только для того, чтобы весело проводить время и, разумеется, толковать между прочим о святине искусства и вообще о высоком и прекрасном. Союз этот поддерживался некоторое время тем, что представители приятно щекотали самолюбие друг друга. Около них, как всегда около авторитетов, образовался небольшой штат угодников, шутов, исполнителей особых поручений и блюдолизов из маленьких талантиков. В числе таковых выдвигались на первом плане бесталаный художник Яненко, грубый, наглый циник, который для того только, чтобы хорошо выпить и поесть, готов был пожертвовать всем в угоду кому-либо из своих патронов, даже женой и дочерью, и другой – также бесталаный художник М\*, с лживой и рабской натурой, всегда притворно-робко входивший в ателье Брюллова, взглядывавший на новое произведение его кисти с лицемерным благоговением, восклицавший: «недостойн, недостойн!» и выбегавший, закрывая глаза, как бы ослепленный им... К ним присоединилось несколько маленьких литературных талантиков, отчасти из тщеславной мысли прослыть друзьями гениальных, по их мнению, людей, отчасти из того, чтобы вместе с ними веселиться, пить и есть.

В это время Кукольник занимал вместе с своим братом Платоном, управлявшим делами Новосильцова, довольно большую квартиру в Фонарном переулке, в доме Плюшара. Он завел у себя Середы. Плюшар, мотавший тогда деньги, получаемые им с «Энциклопедического лексикона», находился в близких отношениях к Кукольнику, Сенковскому, Булгарину и Гречу. Кукольник также сошелся очень близко с последними.

На этих середях впоследствии (это уже было в начале сороковых годов) собиралось иногда человек до восьмидесяти. Тут не были исключительно любители искусства и поклонники литературы, художники и литераторы, а всякого рода весельчаки, военные и штатские, пожилые и молодые – даже игроки, аферисты и спекуляторы. Вся эта разнохарактерная ватага бестолково толпилась и шумела, бродя из комнаты в комнату. Хозяин дома кочевал среди этой толпы и останавливался на минуту перед своими гостями с каким-нибудь любезным словом. О святине искусства не было и помину. На этих середях перебивали все пишущие люди за исключением немногих писателей-аристократов, принадлежавших к друзьям Пушкина. Середы эти начались уже после смерти Пушкина. (Надобно заметить, что Пушкин никогда ни слова не говорил о сочинениях Кукольника, хотя он, как известно, радовался появлению всякого таланта.) Одну из важных ролей на этих середях играл Булгарин, к которому хозяин дома был очень внимателен. Здесь я увидел в первый раз этого господина. Кукольник познакомил меня с ним, хотя я вовсе не просил его об этом. Короткие отношения Кукольника с Булгариним действовали неприятно на меня и на всех молодых поклонников поэта. Новое пишущее и читающее поколение этого времени все без исключения презирало Булгарина. Тот, кто печатал свои статьи в «Пчеле» или был в коротких сношениях с ее редактором, компрометировал себя в мнении молодежи. Между старым и старевшим поколением Булгарин пользовался еще большою популярностью. Можно сказать утвердительно, что Кукольник поступил нерасчетливо для своей литературной репутации, видимо склоняясь более на сторону отживавшего поколения и протягивая руку таким людям, как Булгарин. Но в это время уже, кажется, святиня искусства, о которой он так горячо проповедывал за приятельскими обедами и за ужинами в кафе – ресторанах, отходила для него на второй план. Другие, более существенные и практические замыслы начинали уже, кажется, занимать его во вред поэзии.

Когда Кукольник подвел меня к Булгарину, Булгарин схватил мою руку и, спотыкаясь почти на каждом слове, скороговоркою произнес, брызгая слюною:

– Очень рад, очень рад, почтеннейший! Я вас, еще не зная, душевно полюбил за вашу повесть... вы пишете чистым русским языком, прекрасный слог, прекрасный. Полюбите меня,

не слушайте моих врагов... Я режу всем правду-матку в глаза, оттого и нажил много врагов... Дядюшку вашего я уважаю. Мы с ним старые знакомые... достойный человек, достойный.

В ту минуту, как он мне говорил это, я курил сигару и пустил ему дым прямо в рот.

Булгарин поперхнулся.

С тех пор, при упоминании о моих повестях в «Пчеле», он всякий раз заговаривал о сигаре совершенно некстати, уверяя, будто все изображаемые мною лица непременно курят сигары, что эти сигары весьма неуместны и что можно быть, конечно, охотником до них, но не надоедать с ними в литературе. Кроме меня и Булгарина никто, конечно, не понимал, что это значит.

При напечатании одной из моих повестей (это было также в начале сороковых годов, здесь я уж кстати введу этот эпизод) «Северная пчела» отозвалась, что хотя она не имеет удовольствия знать меня лично и не слыхала, к какому обществу я принадлежу, но судя по тому, что я недурно изображаю мирок мелких чиновников, я, вероятно, должен принадлежать к этому миру. В заключение «Пчела» замечала, что я до такого совершенства изучил известного рода старушек, у которых собираются молодые девицы для приятного препровождения времени с молодыми людьми, и так верно изображаю подобные дома, что можно заключить, будто я родился и воспитывался в одном из таких домов. Эта милая выходка подала повод к большим толкам между многими из тех литераторов, которых Булгарин считал своими врагами, и когда я дня через два после этого приехал к князю Одоевскому, Одоевский, граф Соллогуб и Башуцкий встретили меня тем, что я непременно должен жаловаться на Булгарина; что такая наглость и гнусность не может остаться безнаказанной; что сегодня он оскорбил меня, завтра может оскорбить кого-нибудь из них, и проч.

Я, однако, жаловаться не решился; но граф Соллогуб при встрече с председателем ценсурного комитета князем Дундуковым-Корсаковым рассказал ему о выходке «Пчелы» против меня.

Князь Дундуков спросил в комитете, кто из ценсоров пропускал тот номер «Пчелы», где она была напечатана. Оказалось, что это был родной брат его, П. А. Корсаков. Корсаков отговаривался перед братом тем, что не понял намека. Князь Дундуков сделал ему выговор и приказал строже следить за «Пчелою».

Булгарин узнал об этом и написал к князю Дундукову письмо, в котором объяснял ему, что статью обо мне писал не он; что он и не подозревал об моем существовании; что мало ли что говорится иногда о людях и позначительнее меня; что неужели обо мне нельзя ничего сказать, потому что я ношу одну фамилию с каким-нибудь директором канцелярии? что он, Булгарин, человек благонамеренный, известный с самой хорошей стороны правительству; что он в детстве был, так сказать, повит голубыми лентами, что его вельможи ласкали, а Свистунов – всегда целовал; что он режет всем правду-матку в глаза; что поэтому его ненавидят разные литераторы, считающие себя неизвестно почему аристократами; что Соллогуб величается графом, хотя в Польше графов никогда не было; что князь Вяземский работал по найму у купца третьей гильдии Полевого; что князь Одоевский готов за деньги написать статью против кого угодно... и проч., и проч. В заключение он просил, как притесняемый, защиты у князя Дундукова и называл его брата Корсакова благородным цензором и дворянином.

Письмо это хранилось в копии у г. Краевского, пылавшего тогда благородным негодованием против всяких нелитературных выходок.

Несколько месяцев спустя после этого я заехал к В. И. Панаеву.

– Что у тебя такое было с Булгариным? – спросил он меня.

Я давно забыл о выходке «Пчелы».

– Ничего, – отвечал я, – я с Булгариным не имею никаких связей и сношений; а что?

– Да я дней пять тому назад встретил его в Милютиных лавках. Он пристал ко мне. «Ваше превосходительство, говорит, вы на меня сердитесь... Я не виноват...» – «За что мне на вас сердиться?» – «В „Пчеле“, говорит, оскорбили вашего племянника; но я, клянусь вам богом, не знал об этом. Я вашего племянника люблю, ваше превосходительство, несмотря на то, что он якшается с моими врагами. Я поручил написать об нем одному сотруднику, думая, что он находится с ним в хороших отношениях, а он с ним в контре – он и ввел меня в эту неприятность. Простите меня, бога ради, не виноват, не виноват, ваше превосходительство!» И все тыкался мне в плечо и целовал, объясняясь в любви ко мне и к тебе. Я ничего хорошенько не понял.

Я рассказал Панаеву, в чем дело, и передал ему содержание письма Булгарина к Дундукову. Панаев покачал головой.

– Ах, неужели, – возразил он с свойственной ему мягкостью, – Булгарин такой нехороший человек! Я этого не думал... Мне как-то хочется думать об людях все лучше.

Эпилог к этой забавной истории разыгрался лет пять спустя.

Я жил на даче в Парголово, где жил тогда и Межевич, перешедший от г. Краевского к Булгарину и потом редактировавший «Полицейскими ведомостями».

С Межевичем я познакомился, когда он приехал из Москвы и сделался сотрудником «Отечественных записок» (об этом я буду говорить подробно). Межевич очень конфузился, перебежав в «Пчелу», и долго скрывал это от нас. В это время я написал статейку «Петербургский фельетонист», в которой мой фельетонист также тайно перебегает из одного журнала в другой. Межевич принял эту статейку на свой счет.

Я встретился с Межевичем по дороге в сад, и мы пошли вместе. Вечер был теплый и тихий; я разговорился с ним о чем-то. Тишина природы и моя любезность подействовали на Межевича.

Он вдруг, растроганный, остановился и произнес:

– Знаете ли, что я перед вами очень виноват?

– Каким образом? – спросил я.

– Ведь это я написал в «Пчеле» известный вам гадкий намек на вас. Я был тогда глубоко оскорблен вашим «Петербургским фельетонистом», простите меня.

– И, полноте, любезный Василий Степанович, – я уж давно и забыл об этом, – отвечал я.

Межевич с чувством и даже со слезящимися глазами пожал мою руку...

Но обратимся к середам Кукольника.

Вся ватага гостей его расходилась обыкновенно около часа, – иногда Яненко или кто –нибудь из мелких литераторов, состоявших по особым поручениям при поэте, разными хитростями выживали гостей ранее. По очищении комнат накрывался ужин человек на двадцать самых интимных и продолжался до утра. За этим ужином происходили дружеские и всяческие излияния, выступала на сцену святыня искусства и раздавались вдохновенные и пророческие речи хозяина дома.

На одной из серед Кукольник часов в одиннадцать подошел ко мне, значительно мигнул и шепнул с улыбкою:

– Не уезжай. Когда разберется вся эта шушера, останутся избранные. Вечера мои собственно начинаются тогда, когда они кончаются для них...

Кукольник указал головою на толпу гостей.

– До сих пор, – прибавил он, – была только увертюра, – самая опера начнется потом.

Надо заметить, что это происходило после «Роксоланы» и «Скопина-Шуйского», которые имели огромный успех на сцене. Усердие наше к крикам и хлопанию не уставало. К нам присоединилось еще множество офицеров различных полков – новых друзей поэта, с еще более громким голосом, чем у нас.

Хотя я продолжал быть убежден в огромном таланте Кукольника, но меня уже смущали его связи с Булгариным, Плюшаром и им подобными личностями, которым я не мог сочувствовать; его искание популярности без всякого разбора, ухаживанье за людьми чиновными и значительными и еще притом прославление их между приятелями, пиры без конца, повторение тех же громких фраз и проч. – все это много способствовало моему разочарованию. Сомнение начало закрадываться в меня относительно призвания поэта; я уже иногда посматривал на него как на простого смертного и даже осмелился замечать иногда его комические стороны.

В таком положении я был к нему, когда он сделал мне честь, которой удостоивались немногие – удержал меня на ужин.

Мне, однако, это было еще очень приятно.

За ужином Кукольника в этот раз было человек пятнадцать: несколько офицеров Преображенского полка, М. И. Глинка, Яненко, Струговщиков, переводивший Гете и издававший тогда «Художественную газету», и Каменский, интересный молодой человек, явившийся с Кавказа с повестями а la Марлинский и с солдатским Георгием в петлице. Кавказский герой одержал две победы в Петербурге: одну над г. Краевским, издававшим «Литературные прибавления», который, пораженный его талантом, заплатил ему 500 рублей (ассигнациями) за его первую повесть; другую над дочерью Ф. П. Толстого. Остальных присутствовавших за этим ужином я не помню. Ужин отличался не столько съестною, сколько питейною частью. В столовой на одной стене висел портрет Кукольника-поэта, на другой его брата Платона – оба работы Брюллова, в великолепных рамах. Вино лилось. За шампанским Кукольник встал и, обращаясь в особенности к офицерам, подняв бокал и протягивая с ним руку к портрету брата, произнес торжественно:

– Преображенцы! за здоровье отсутствующего Платона!

Здоровье управляющего новосильцевским именем было выпито с восторженными криками.

Я сидел возле М. И. Глинки.

Глинка перед ужином был в дурном расположении духа. Он говорил мало и нехотя, гордо поднимал свою голову и, заложив руку за жилет, важно прохаживался в толпе, будируя всех своих знакомых. Такие минуты находили на него часто. За ужином он, однако, мало – помалу расходился: говорил мне о своих музыкальных планах, о своем «Руслане», над которым он тогда трудился, о будущем России (это был один из любимых его разговоров) и о русском народе, Глинка полагал, что он хорошо знает народ и умеет говорить с ним. При такого рода разговорах он обыкновенно очень одушевлялся: глаза его сверкали, он щипал руку того, с кем говорил – и беспрестанно повторял «неправда ли?..» В этот раз он исщипал мою руку до синяков.

Глинка был человек страстный, увлекающийся, настоящий поэт, – и в такие минуты он возбуждал к себе большую симпатию и увлекал многих своими фантазиями и парадоксами,

потому что в его увлечениях не было ничего поддельного... надобно было только сидеть от него подальше. Но когда кто-нибудь затрогивал чуть-чуть его самолюбие или ему только казалось это, он становился нестерпимо горд, дулся, поднимался на ходули и принимал важные и пресмешные позы, вовсе не шедшие к его маленькой фигурке.

Степанов – нынешний редактор «Искры»– мастерски схватил комические стороны Глинки, Брюллова и Кукольника. Он представил всю жизнь их в очень злых, метких и остроумных карикатурах. Альбом этот принадлежит теперь графу Г. А. Кушелеву – Безбородко.

О святине искусства за ужином Кукольника в этот раз не было речи. Он сообщил только нам, что он трудится над эпохой Петра Великого, prepares ряд повестей из этой эпохи, и кстати рассказал нам из нее несколько анекдотов.

После ужина все смолкли, потому что Глинка, почувствовав вдохновение, сел к фортепьяно и начал импровизировать. Кукольник стоял у фортепьяно, восклицая по временам: «дивно!», и, обращаясь к офицерам, шептал, прикладывая указательный перст к губам: «слушайте, слушайте, преображенцы!»

В заключение Глинка пропел свой романс:

В крови горит огонь желанья —

страстным, задыхающимся голосом, дико поводя глазами на слушателей.

Потом он повел рукою по лбу и волосам (это он часто делал в минуты волнения), встал со стула, из-за плеча бросил гордый взгляд на всех (кто из знавших Глинку не помнит этого взгляда?), прошелся по комнате, допил свой стакан, подошел ко мне улыбаясь, ущипнул меня и сказал:

– Если б наш Иван Акимыч воскрес и был здесь, что бы он сказал? – Михайло Иваныч заморгал и начал обдергиваться: – «Глинка... новый Орфей, продолжай услаждать слух гармонией... Жизнь коротка... мудрый, пользуйся жизнью... Добрый хозяин всегда имеет в запасе: бутылку на столе – две под столом... Разумей об этом тот, кому ведать надлежит...» – Глинка засмеялся. – Правда, ведь так? – заметил он.

Мы разошлись часов в 5 утра.

\* \* \*

Надобно сказать, что при начале вечеров Кукольника я был уже знаком со многими литераторами, с которыми сошелся на середках у Кукольника, на воскресеньях у графа Ф. П. Толстого и у г. Краевского, приступавшего тогда к изданию «Литературных прибавлений к Русскому инвалиду» и скромно жившего неподалеку от Кукольника, на углу Глухого и Фонарного переулков, в 4-м этаже.

О знакомстве моем с г. Краевским я расскажу впоследствии.

\* \* \*

После службы моей в Департаменте государственного казначейства я отдыхал с год, и наконец, князь П. А. Ширинский-Шихматов, бывший тогда директором Департамента народного просвещения, с которым были знакомы мои родные, определил меня к себе в департамент младшим помощником столоначальника.

Когда я в первый раз явился к князю Шихматову, он сидел в своем кабинете у письменного стола в виц-мундире и со звездой.

– Милости прошу, – сказал он мне, немного приподнявшись с своих кресел и указывая на стул.

Князь Шихматов говорил тихо, медленно, с расстановками. В кабинете его стоял письменный стол, несколько стульев и кресел, а на одной из стен висел портрет какого-то монаха. На полном лице князя, желтом, как церковная свеча, выражалась совершенно монашеская кротость и смирение.

– Вы желаете служить в департаменте?.. Просьба ваша об определении у меня. С будущей недели вы можете уже начать службу. Вы поступите младшим столоначальником во II отделение, в стол г. Сваррику-Сваррацкому...

Я поклонился.

– Вы, я слышал, занимаетесь литературой? – спросил меня князь после минуты молчания.

– Немного, – отвечал я сконфузясь.

– Это похвальное занятие, – возразил князь, – я также в молодых годах питал любовь к литературе и писал стихи. Вы, может быть, знаете?..

– Как же, ваше сиятельство, – отвечал я, хотя, признаться, мне не случилось читать стихотворений князя.

Затем последовало молчание.

Князь Ширинский приподнялся с кресла, я встал со стула.

– Так на будущей неделе вы пожалуйста в департамент. До свидания-с.

Служба решительно не давалась мне, или, лучше сказать, я никак не мог подчиниться ей. У меня не оказывалось ни малейшего честолюбия. Камер-юнкерство уже перестало занимать меня; но мои близкие всякий раз, когда производили в камер-юнкеры сына или родственника их знакомых, с упреком говорили мне:

– NN сделан камер-юнкером. В каком восторге от этого его родители, и какой он прекрасный молодой человек, как он утешает их, как отзывается об нем начальство!.. Это примерный сын!

И за такими речами следовал обыкновенно глубокий вздох...

Я ездил в департамент довольно аккуратно, просиживал определенное время, но из этого ничего не выходило. Столоначальник мой г. Сваррик-Сваррацкий, добрейший человек, смотрел на меня снисходительно, потому что я был определен в департамент князем Шахматовым. К тому же у г. Сваррика был отличный старший помощник г. Кисловский, нынешний директор канцелярии министра просвещения.

Я изредка посещал по праздничным дням князя и княгиню Ширинских. Однажды при таком посещении княгиня пригласила меня к себе на танцевальный вечер, в присутствии князя, который молчал, но заметно нахмурился при словах «танцевальный вечер». Княгиня была так же богомольна и благочестива, как князь, но она находила, что для ее взрослых дочерей необходимо иногда развлечение.

Кавалеры на этом вечере большею частью состояли из чиновников департамента, под распоряжением экзекутора, который не приказал никого из них выпускать до 2 часов. В зале, где танцевали, зажжено было несколько ламп, издававших красноватый свет. Стены залы были

также увешаны портретами монахов, которые, казалось, сурово и с удивлением смотрели на возмутившее их светское увеселение. Сам князь прохаживался, видимо смущенный брэнчаньем на фортепьяно и прыганьем под эти звуки. Чиновники чувствовали себя неловко: для угождения княгине надобно было танцевать, а князь неблагосклонно посматривал на своих подчиненных – танцоров. Вечер не клеился, и уже не повторялся более. Столоначальник мой, г. Сваррик-Сваррацкий, на другой день, впрочем, заметил мне, что вечер у князя был очень приятный.

Бедный Сваррацкий! упоминая об нем, я не могу удержаться, чтобы не рассказать о последних минутах его жизни. Он получил Анну на шею и вслед затем взял отпуск, чтобы блеснуть этим знаком отличия на родине, но простудился и слег в постель. Доктор департамента Спасский, лечивший его, заехал к нему от раненого и умиравшего Пушкина. Сваррацкому было плохо. Он приподнялся на постели, схватил руку доктора и произнес, бросая грустный взгляд на Анну, лежавшую на столике у его постели:

– Скажите мне, есть ли какая-нибудь надежда, доктор? Могу ли я выздороветь?

– Никакой, – отвечал Спасский, – да что ж такое? все мы умрем, батюшка. Вон и Пушкин умирает... Слышите ли, Пушкин?!. Так уж нам с вами можно умереть.

Сваррацкий со стоном опустил голову на подушку и умер в один день и почти в один час с Пушкиным. Спасский по этому случаю заметил:

– Вишь, счастливец! Умереть в один час с таким человеком, как Пушкин. Это не всякому удастся.

Сваррацкий нередко просил меня навести справки о чем-нибудь в редакции «Журнала просвещения», комнатка которой была на той же лестнице, где и департамент. Там я встречал чиновника небольшого роста, с очень серьезной и значительной физиономией, с густыми черными волосами, тщательно причесанными, как тогда носили, а *la moujik*, и с большими темносерыми глазами, имевшими строгое и резкое выражение.

– Кто это такой? – спросил я однажды у одного из чиновников.

– Это помощник редактора, – отвечал мне чиновник, – кандидат Московского университета Краевский – преученый человек.

Г. Краевский имел уже тогда в виду взять у Воейкова «Литературные прибавления»; ему нужны были сотрудники; он знал, что я пишу повести, и потому мы сошлись с ним легко и довольно близко, чему еще более способствовало то, что в это время мы коротко познакомились в одном доме, который стали посещать почти ежедневно.

Толки об учености Краевского в департаменте основывались, кажется, на компиляции его о философии аббата Ботеня, заказанной ему графом Уваровым и помещавшейся тогда в «Журнале Министерства просвещения».

В Петербург г. Краевский явился со статьею «Борис Годунов». Он прежде всего познакомился с Гречем, потому, вероятно, и статья эта была напечатана в «Сыне отечества». Греч первое время отзывался о г. Краевском с увлечением. Вскоре, я уже не знаю по каким причинам, г. Краевский отвернулся от Греча и познакомился, кажется через П. А. Плетнева, с князем В. Ф. Одоевским, который принял его с распростертыми объятиями и с свойственным ему добродушием...

Через г. Краевского я познакомился потом с князем Одоевским в качестве переводчика «Отелло» Шекспира.

Кстати об этом переводе.



Как все молодые люди, я был страстный охотник до театра. Мир закулисный казался мне каким-то фантастическим, в высшей степени привлекательным и недоступным миром. По тогдашней моей робости я и не смел думать о знакомстве с Каратыгиным или Брянским, которые доставляли мне свою игрою на сцене неописанное наслаждение. Я не пропускал ни одного представления «Разбойников», «Дон-Карлоса», «Коварства и любви» и различных немецких драм Грильпарцера и других, дававшихся в то время. Каратыгин и Брянский, особенно первый, поражали меня своим талантом.

В это время я принялся за чтение Шекспира. «Гамлета» я прочел в переводе Вронченко, еще будучи в пансионе, но он мне не понравился. Года два спустя после выпуска я снова принялся за него и, уже принудив себя прочесть его несколько раз, был поражен глубиной и величием этого произведения. Увлеченный им, я перешел от него к другим произведениям Шекспира. По-английски я не знал и познакомился с Шекспиром во французском переводе.

«Отелло» произвел на меня такое же впечатление, как некогда «Notre Dame de Paris» Гюго. Я несколько недель сряду только и бредил Отелло. Моему воображению представлялось, каковы должны быть Каратыгин в Отелло и Брянский в Яго. Желание увидеть эту драму на русской сцене преследовало меня и мучило.

Наконец я решился переводить ее, пригласив к себе в помощники моего родственника и приятеля М. А. Гамазова, знавшего довольно хорошо английский язык.

Утром и вечером я сидел за моим переводом и скоро окончил его. М. А. Гамазов много помогал мне и потом еще сверил перевод с английским.

Я отлично переписал его, велел переплести и решился предложить Брянскому для его бенефиса, наслышавшись, что Брянский серьезно понимает Шекспира и любит его. Перед этим он уже, кажется, давал в свой бенефис «Ричарда III», которого перевел для него его приятель Дидло.

С биением сердца я отправился к Брянскому. Брянский прочел мой перевод и остался им доволен. Я не скрыл от него, что я перевел с французского.

– Да мы на афише выставим – с английского; это необходимо, а то еще подумают, что это переделка Дюсиса...

Я смутился.

– Как же, – возразил я, – это неловко, ведь это обман?

– Да я вас прошу; это для меня, мне это важно. Вы не беспокойтесь, – прибавил Брянский, запахивая свой халат, надетый без ничего сверх рубашки (это был обыкновенный его домашний костюм): – этого никто и не заметит. Вы уж как хотите, а я выставлю перевод – с английского.

Я не противоречил более.

Через несколько дней потом он сказал мне, что читал мой перевод князю Шаховскому...

– Он мой старый друг и наставник, – заметил Брянский, – и знаток в нашем деле. Он похвалил ваш перевод и желает с вами познакомиться. Я обещал привести вас к нему.

Мы отправились с Брянским к Шаховскому в назначенный им день.

Шаховской жил тогда на набережной Фонтанки, неподалеку от Калинкина моста.

Я нашел в нем еще очень живого старичка. Он, пришепетывая, болтал без умолку, и показался мне очень добродушным. Репертуар Шаховского начинал в это время забываться; пьесы его появлялись на сцене изредка, что приводило автора, повидимому, в раздражение. Он никак не думал, что время его прошло, а приписывал это интригам против него Театральной дирекции. Он очень горячился, упрекал Дирекцию в невежестве и с восхищением рассказывал о том времени, когда он управлял театрами, беспрестанно ссылаясь на Брянского и повторяя: «Плявда, братец, ведь плявда?»

Шаховской похвалил мой перевод, но заметил, что у меня еще язык не совсем разговорный и встречаются длинные периоды, которые на сцене нестерпимы, но что, впрочем, все это легко исправить. Затем разговор перешел к Каратыгину. Шаховской, признавая в нем талант, говорил, что он попал в дурные руки и что его учителя испортили его и внушили ему фальшивый взгляд на драматическое искусство. Надо отдать справедливость Брянскому в том, что он всегда молчал, когда заходила речь не в пользу Каратыгина; зато супруга Брянского, считавшая долгом рассматривать Каратыгина как соперника своего мужа и поэтому как непримиримого врага своего, ораторствовала против него повсюду с неслыханным ожесточением и устраивала беспрестанные ссоры между двумя артистами.

Мы просидели у Шаховского часов до двенадцати. Посторонних в этот вечер у него не было никого. Чай разливали его дочери от Ежовой (которая, кажется, умерла за год пред этим), девицы уже не первой молодости, но очень кокетливые, около которых увивался какой-то юнкер.

Это было мое первое и последнее свидание с Шаховским.

Обстановка «Отелло» занимала меня в высшей степени. Я был совершенно счастлив, попав за кулисы.

Для Брянского этот бенефис был очень важен, потому что в роли Дездемоны должна была дебютировать его дочь. По репетициям я никак не мог судить, хорошо ли пойдет пьеса: дебютантка была до крайности застенчива; первые сюжеты, особенно Каратыгин, небрежно, как-то сквозь зубы, произносили свои речи. Репетиции были беспрестанно прерываемы посторонними разговорами, появлением лиц, не принадлежавших к пьесе, и разными, может быть остроумными, но довольно грубыми шуточками между артистами и артистками. Первую репетицию я просидел молча и робко, как человек, попавший в незнакомый ему мир, который издали казался ему гораздо привлекательнейшим. Я помню, меня смутило только, когда Каратыгин в 3-м действии – вместо: «Крови, Яго, крови!» произнес: «Крови, Яго, крови жажду я!» Это «жажду я» показалось мне неловким и лишним... Я, впрочем, успокоил себя мыслию, что он ошибся, но на генеральной репетиции это «жажду я» он произнёс еще с большею торжественностью и эффектом.

После репетиции я решился заметить ему, что в подлиннике и в переводе моем Отелло говорит просто: «Крови, Яго, крови!» и что, по моему мнению, это сильнее и проще. Каратыгин взглянул на меня с высоты своей, улыбнувшись.

– Нет, – сказал он, – уж вы предоставьте мне говорить так, как я нахожу лучше. Эта фраза: «Крови, Яго, крови!» – коротка; для того чтобы придать ей силу, необходимо прибавлять «жажду я».

И он отвернулся от меня.

Делать было нечего – надо было покориться артисту; но (теперь мне смешно вспоминать об этом) это жажду я меня ужасно беспокоило.

Надо заметить, что Каратыгин меня знал с детства. Я встречал его в доме К\*, с которыми были близки мои родные, и, переведя «Отелло», еще до знакомства моего с Брянским, я пригласил к себе на вечер Каратыгина, В. И. Панаева и Кречетова и прочел им мой перевод.

Каратыгин заметил, что хотя Шекспир большой талант, но играть его пьесы без значительных переделок невозможно, и что «Отелло» требует больших исправлений и выкидок. Дядя мой совершенно согласился с этим. Это возмутило меня, и тогда уже я решился обратиться к Брянскому.

Кречетов был в восторге от «Отелло». Он, кажется, познакомился с настоящим шекспировским Отелло в первый раз через мой перевод. До этого он знал «Отелло» по Дюсису, хотя и уверял, что глубоко изучил всего Шекспира, и называл его не иначе, как великим сердцеведцем; он удостоивал его также местоимения мой и иногда просто называл Уильямом.

Когда Панаев и Каратыгин уехали, Кречетов покачал головою и обратился ко мне:

– Эти господа, я вам скажу, ровно ничего не понимают, ничего-таки формально! Стоило вам приглашать их! Ну, да, положим, ваш дядюшка... где ж ему обнять эту глубину, эту-эту силу, мощь, эту-эту беспредельность, эту полноту...

И Кречетов размахивал руками.

– Он взращен на этом приторном, сахарном Геснере... А Каратыгин-то! Еще считается великим артистом! Хорош, нечего сказать!

Когда речь касалась чего-нибудь театрального, Кречетов непременно всякий раз с энтузиазмом вспоминал о Катерине Семеновой, рассказывал о своем знакомстве с нею, рисовал ее в самых соблазнительных красках, намекал, что она была к нему равнодушна и соблазняла его своей ножкой. В заключение он глубоко вздыхал и, разрывая свой волос с ожесточением, бросал его и произносил:

– Все это, батюшка —

Дела давно минувших дней,

Преданья старины глубокой!

Кречетов любил рассказывать о своей холостой жизни и о своих победах над прекрасным полом. Он посещал меня непременно раз в неделю и всякий раз передавал мне какой-нибудь эпизод из своих юношеских любовных приключений, заканчивая его вздохом и повторяя:

Теперь уж я не тот!

Надобно заметить, что за год до моего выпуска он женился на девице Гороховой, которую всегда описывал самыми поэтическими красками, говорил, что она совершенно удовлетворяет его идеалу и в пластическом и в моральном отношении и только смущался тем, что она уж слишком плодовита и рождает каждый год. Он называл ее обыкновенно своею милою нелепостью и иногда в рассказах о своей семейной жизни разнеживался до сантиментализма.

– Где вы провели канун нового года? – спросил он меня однажды.

– По обыкновению, у Одоевского, – отвечал я.

– А я так мирно и тихо провел дома: купил бутылку доброй малаги, взял корзиночку безе... и мы вдвоем с моею милою нелепостью полакомились и распили бутылку.

Кречетов получал тысяч семь ассигнациями от уроков и жил безбедно. Он иногда приглашал меня обедать на какие-то протасовские щи и на бутылку старой мადеры, до которой он был большой охотник, и однажды познакомил меня с своею супругою, которая, по усиленному настоянию его, пропела для меня после обеда «Соловья».

Кречетов был в восхищении от ее пения и часто повторял:

– Мне, батюшка, не нужно ходить в вашу Итальянскую оперу... У меня своя домашняя опера.

К числу самых резких заблуждений Кречетова о самом себе принадлежало убеждение, что он человек светский. Самым любимым его рассказом (Кречетов сильно повторялся) был рассказ о том, как Е. М. Хитрово, родственнику которой он давал уроки, представила его однажды графине Фикельмонт (жене австрийского посланника) и как он наговорил ей тысячи светских блестящих, безделушек и нелепостей...

Кречетов сделался для меня привычкою, необходимостью. Я постоянно прочитывал ему все мои новые сочинения, он держал их корректуры (надо отдать справедливость: он был превосходным корректором) и вообще принимал живое участие в моих литературных делах. Возвращая мне корректуры, он обыкновенно говорил:

– Скоро, кажется, мне и за свои корректуры придется приняться и вытащить что – нибудь хорошенькое из-под спуда!

Но проходили годы, а из-под спуда Кречетова ничего не выходило на свет. Я только раз видел на его письменном столе лист бумаги, на котором было написано начало какого-то монолога:

«Она женщина! Она жена моя! Она спит!»

Да еще раз Кречетов прочел мне начало, как он выражался, юмористической безделушки, в которой роль играл какой-то паук в печурке, сплетавший паутину – намек, не помню, на какого-то сочинителя...

Перед представлением «Отелло» Кречетов был почти в таком же волнении, как я...

В день бенефиса Брянского я ходил как в чаду и приехал в театр, замирая от страха.

Театр был, к моему огорчению, не полон, несмотря на то, что много было роздано даровых билетов.

Я с нетерпением ждал поднятия занавеса.

Он поднялся... Растрепанные и грязные декорации, истасканные костюмы, какой-то особенный акцент, обличавший невежество многих актеров, особенно дожа, неловкость и робость дебютанки – все это привело бы меня в отчаяние, но эффектный вход Каратыгина, его красота, его блестящий наряд, большие белые серьги, которые чрезвычайно шли к его черному лицу, и страшные рукоплескания публики при его появлении оживили меня.

Пьеса сошла кое-как; «жажду я», произнесенное с сверкающими глазами и с угрожающим жестом, произвело взрыв рукоплесканий. По окончании пьесы я, разумеется, был вызван друзьями бенефицианта, моими приятелями и в том числе Кречетовым, который кричал и хлопал изо всей силы.

«Отелло» давали несколько раз. В третье представление я отправился на репетицию. У входа в театр я встретил Григорьева-меньшого, очень удачно игравшего роль мещан и купцов низшего разряда. Григорьев-младший всегда был вполпьяна, что, впрочем, очень шло к его амплу.

Он остановился, увидев меня, и произнес в замешательстве:

– Пожалуйста, вы уж меня извините. Я тут не виноват, мне приказано, – что же делать!

– В чем? – возразил я с удивлением, – каким образом вы можете быть виноваты передо мною?

– Да меня заставили играть сегодня роль дожа в «Отелло». Против начальства не пойдешь, вы сами знаете.

– И, полноте, что за церемонии! – отвечал я, пожав ему руку.

«Отелло» я напечатал отдельную книжкою, и так как на афише было объявлено «перевод с английского», то и на заглавном листе книжки повторено было то же самое. Я даже имел слабость, раз запутавшись во лжи, подтвердить еще эту ложь примечаниями и комментариями, сделанными для меня Гамазовым, которые я поместил в начале моего перевода. Я был наказан за это: ложь моя вскоре была обнаружена г. Вронченкою, глубоко любившим и понимавшим Шекспира. Русская литература обязана ему превосходными переводами «Гамлета» и «Макбета».

В то время, когда мой перевод «Отелло» появился на сцене, г. Краевский был уже редактором «Литературных прибавлений к Русскому инвалиду», которые открылись его статьею: «Мысли об России». В этой статье высказалось *profession de foi* молодого редактора, состоявшее в том, что Россия не имеет ничего общего с западною Европою, что она развивалась и шла иным путем, чем Запад, что она поэтому не подлежит общему человеческому развитию и составляет как бы шестую часть света...

В статье не было, впрочем, ничего оригинального, кроме шестой части света. Эти «Мысли об России» обнаруживали только, что Краевский явился в Петербург под влиянием тогдашних московских славянофилов. Статья эта произвела, сколько мне помнится, большое впечатление на многих литераторов, с которыми г. Краевский вступил уже в приятельские связи; литературный ветеран А. Ф. Воейков и многие из известных в то время литераторов: барон Розен, Карлгоф, Якубович, состоявший при штабе жандармов Владиславлев и другие отзывались о статье с большою похвалою. Для патриотического чувства их было лестно открытие г. Краевского. Они приветствовали его как мыслителя весьма замечательного. Даже Кукольник, не любивший г. Краевского, отозвался о «Мыслях об России» с благосклонною снисходительностию: «статейка эта недурна, в ней много дельного», говорил он. П. А. Плетнев и князь В. Ф. Одоевский одобряли первые шаги г. Краевского на журнальном поприще. Князь Одоевский имел на него в это время, как должно предполагать, сильное влияние, потому что г. Краевский завел у себя точно такие же оригинальные столы со шкафчиками, какие были у князя Одоевского, и снял с него покрой для своего кабинетного костюма во время ученых занятий.